



Е. ЛУНДБЕРГ

«Россия» А. Блока

I

Не скоро мы, современники А. А. Блока, настолько отвлечемся от памяти о нем, чтобы писать о его поэзии, чтобы писать об «Алекサンドре Блоке». Он больше других поэтов вошел в литературу не только словом, но и лицом своим, манерой молчать, глазами, частностями биографии. Лицо Блока — теперь так больно, что писали его не много¹, — темнело или светилось, как темнели или светились его стихи. Быстрый рост поэта между 903 и 907 годами и смены тем последующих лет запечатлелись в памяти знавших его, как разительные изменения лица. Листая книжки стихов — припоминаешь лицо. Припоминая лицо — берешься за стихи. Единство — большого поэта. Единство поэта, высекавшего живую рукою живые искры, не способного жить повторением, логическим развитием себя или заемным — у себя ли, или у других — огнем. В литературу А. А. Блок вошел нежно-сияющий, нежно-торжественный, нежно-удивленный прелестью мира, сквозящую во всех проявлениях. Отзвучали стихи о Прекрасной Даме, пришли годы горечи, скитаний, разочарования, тяжелого хмеля, возвратов к прошлому и новых исканий — но эти черты не стирались: нежность, готовность внутренне просиять и тихая торжественность, несмотря на остроту иронии и печали. И сейчас, когда память еще болезненно свежа, знавшие Блока должны больше писать о живой личности, чем о стихах. Ибо коротка людская память, забываются благоуханные частности. Стихи же останутся, и в них потомок прочтет больше, чем можем услышать мы...

II

Ал. Блок, по внутренней сущности своей, бездомен, он — странник. Не оттого, что темы его постоянно менялись; не оттого, что он переходил от темы к теме или быстро изменялся сам. Он странник оттого, что ему незнакомо чувство дома, успокоенности, уюта². Явления не отлагались прозаическими пластами в его поэзии, но перегорали. И вместе с ними перегорала сама поэзия. Даже у Тютчева связь между поэзией и явлениями более рациональна, чем у Блока. Стихи о Прекрасной Даме — вот момент в его жизни, когда храм мог стать домом, когда образ мог притянуть надолго, как пристань притягивает корабли, — эти стихи скрывают уже в себе груды горючего материала, который займется, и тогда — горе берегу, горе пристани и кораблям.

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
 Все в облике одном предчувствую Тебя.
 Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
 И молча жду — *тоску и любя*.
 Весь горизонт в огне, и близко появленье,
 Но страшно мне: изменишь облик Ты
 И дерзкое возбудишь подозренье,
 Сменив в конце привычные черты,
 О, как паду — и горестно и низко,
 Не одолев смертельные мечты.
 Как ясен горизонт. И лучезарность близко.
 Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Блок дал в ранней поэзии своей всю полноту *предчувствий*. Горизонт в огне, зори, «Солнце Завета», озаренные ступени, Непостижимая, Несравненная — так стягивают строгие и восторженные слова все туже и туже это кольцо предчувствий. Выше, теплее, ближе, ближе — но самого видения нет, и в этом напряженном молении на перепутье темнеют провалы в позитивное:

Как ясен горизонт. И лучезарность близко.
 Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Блок не умел дробить свою тему: то вера, то кощунство, то любовь, то поиск — в равной мере, в равном весе. Грани его поэзии не располагались сообразно определенным координатам и не образовали правильный кристалл. Ожидание так напряженно, чувство лица ожидаемого, конкретных черт его так остро, что творчество Блока не могло не стать трагическим. Прекрас-

ная Дама превратилась в Незнакомку. «Потемнели, поблекли залы». Несравненная Дама больна, больна смертельно... Недвижный страж перестает «в приделе Иоанна хранить огонь лампад»³. Обещанная «огненная весна»⁴ отодвигается за дали. В поэзию Ал. Блока входят совсем новые темы.

III

Одна тема, о которой он редко говорит внятно, но которая слышится отныне во всем — даже в периодических возвратах к вере юных дней:

Да, был я пророком. Царем я не буду.
Рабом я не стану. Но я — человек⁵.

Вторая тема — тема служения «проклятой крови»:

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе...
Летели дни, крутятся проклятым роem,
Вино и страсть терзали жизнь мою...

Третья тема — утомление обыденностью, хмурость, потеряность. Она редко появляется одна. Обычно она связана с памятью о прошлом, с надеждами — иными, чем бывало раньше, — с предчувствиями. Но в памяти — горечь, в надеждах — острие неверия, в предчувствиях — либо смех, либо печаль, либо тонкая, как игла, смертельная ирония.

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

И голос был сладок и луч был тонок,
И только высоко у царских врат
Причастный тайнам — плакал ребенок,
О том, что никто не придет назад.

Четвертая тема — такая неожиданная и в то же время органически вросшая — его «снежная мятель», с которой связаны и изумительнейшие душевные переживания и большие его поэтические достижения. Снежная метель — страсть, где огонь и холод, где очарование и безочарованность, где земное начинает

сверкать строгим блеском вечности, не переставая быть ограниченным, преходящим, земным. Как и в предчувствиях Прекрасной Дамы, в «снежной мятели», в «снежном костре», Блоку нет равных. Здесь медлительная, раздумчивая и слегка торжественная муза его становится стремительной, блестящей, острохолодной и своеобразно пламенной. Снежный костер — дорогою ценою купленная антитеза поклонения Прекрасной Даме. В такой метели не погибнет лишь тот, кто так долго ждал «в приделе Иоанна».

«Иди, иди мой рыцарь дольний,
Куда ведет тебя весна.
Где беспечальней, безглагольной,
Твой путь — певучая струна»⁶.

Пятая — большая тема, роднящая Блока с Тютчевым, — напевы ветра ночного, отзвуки хаоса в природе, в мечтах, в городском быту, в человеческой обыденной жизни. Блоковское томление хаосом не так сгущено в немногих словах и образах, как томление, грозное и величавое, у Тютчева. Но Блок усложнил эту тему и разнообразил ее. Мать и дитя. Самоубийца. Любовь, ресторан, чудесная незнакомка. Печальная невеста в кругу неистово визжащих, как звери, людей. И, наконец, маленький «болотный попик» над трясинной — все явления сил земных, обличья хаоса, то укрощенного и ласково-втягивающего, ручного, то грозного, то отвратительного. Хуже всего — хаотически-человеческое. Выше всего в этом кругу — хаотическое в природе. Мучительнее всего — сочетание покоя обыденности, или хотя бы жажды такого покоя, с касаниями хаотического в себе самом и во внешнем мире. Поет ветер. «Мы забыты, одни на земле». «Только стены, да книги, да дни». «Поет, поет, поет и ходит возле дома. И грусть, и нежность, и истома, — как прежде за сердце берет»...

Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне места в тихом доме
Возле мирного огня.
Голоса поют, взывает вьюга,
Страшен мне уют,
Даже за плечом твоим, подруга,
Чьи-то очи стерегут.
За твоими тихими плечами
Слышу трепет крыл.
Бьет в меня светящими очами
Ангел бури — Азраил.

Шестая тема — особенно связанная со странничеством — Россия. В представлении Блока судьба России тот же искус скитальчества, через который проходит и сам поэт. Оттого так терпки его гимны осеннему простору. И как стихи о Прекрасной Даме подготовили костер, — так же стихи о России были прологом к «Двенадцати», где лирика поэта сочеталась с глубоким историческим прозрением...

IV

Дар просветленного восприятия действительности, дар глубокомыслия сочетался в Ал. Блоке с остротой зрения и с большой требовательностью к себе и к миру. Его стихи о самом себе граничат с едкими самобичеваниями. К уродствам жизни, к негармоничности ее, к плоским искажениям ее чаемой сущности он относится страстно и болезненно. Именно из-за остроты зрения, страстности и впечатлительности не мог он стать догматическим, заматерелым певцом «Прекрасной Дамы» — каким был Вл. Соловьев, — отдал свою Прекрасную Даму жизни, жертвенно разменял ее на многие образы и эманации, и все их отдал в обработку палачу-судьбе, судьбе-обыденности, испытанию огнем, холодом, временем и изменою. Так и с Россией. Блок с легкостью мог создать любую легенду о мистической или исторической роли России и примкнуть к сонму лжепророков, придавших столь неприятный оттенок мессианства нашей философской и публицистически-философской литературе. Но он воздержался от *этой* измены. Он предпочел хранить и нести, как крест, свою испытующую и испытываемую любовь к России. Любовь же к тому огромному и *чрезвычайно конкретному* духовному образу, который связан для нас с образом нашей страны и ее народа, в его историческом и интернациональном деле (ибо без «Европы» нет и «России») не смягчила, а лишь усилила его требовательность к России, жестокость его суда, едкость тоски и горького подчас умиления. Стремительность его лирических переживаний перенеслась на «историческую» поэзию. Более того: эта стремительность, совпадавшая со стремительностью реальной истории, возросла, стала молниеносной, грозной, угрожающей косности человеческого мира. Лирика, преломившись в истории, приобрела монументальность. От нее повеяло громом и холодом разрушительных ливней. Этот переход от молитвенности первых лет к стремительности, тоске, горечи и монументальности замыслов второй половины творчества отразился не только на темах, но и на стиле поэта.

В стихах о Прекрасной Даме было много напевности и молитвенности. Была полнота звука, была полнота образа. Но не было еще «трепета крыл» и «светящихся очей», «ангела бури Азраила». Вслушайтесь в наугад отобранные строки:

Над зелеными рвами текла, розовея, весна,
 Непомерность ждала в синевах отдаленной черты.
 И Влюбленность звала — не дала отойти от окна,
 Не смотреть в роковые черты, оторваться от светлой мечты⁷.

Или еще — более легкое, но столь же полнозвучное:

Люблю вечернее моление
 У белой церкви над рекой,
 И сумрак мутно-голубой...
 Падет туманная завеса,
 Жених сойдет из алтаря,
 И от вершин зубчатых леса
 Забрезжит брачная заря⁸.

Конечно, это поэзия, и поэзия высокая. Но здесь еще нет конкретности, отбора слов, их строгой необходимости и экономии. Это еще во многом условная иконопись. Позже, вместе с утратой полноты чувствования, отошли полнота звука и полнота образа. Появились перебои в ритмах. Появились прочувствованно-убогие по убору своему слова. Прописные буквы, торжественные слова, «поэтичность» — стали казаться фальшивыми. Наивный, юношеский литературный символизм Блока переродился в высокий реализм, в котором символика — не самоцель, а лишь путь к обогащению чувствований и обогащению речи. Внутренняя стремительность отразилась в стремительности словесной, которою блещет поэзия «Снежного костра» и которая так определительна для «Двенадцати». Ветер, буря, метель, вьюга, ветровые песни, реюший цветной рукав, дали необъятные, стрела татарской древней воли — вот слова, заостряющие речь А. Блока во вторую половину его поэтической работы. В сосредоточенных на лирическом переживании вещах Блок пользуется другими средствами ... Но само это движение, пляска с ветром, полет со стрелою — все более и более становятся внутренней потребностью А. А. Блока.

V

Дни летят, крутятся проклятым роem. Вино и страсть терзают жизнь. Все мы друг другу тайно враждебны, завистливы, глу-

хи, чужды, предатели в жизни и в дружбе, пустые расточители слов⁹.

Ночь, улица, фонарь, аптека,
 Бессмысленный и тусклый свет.
 Живи еще хоть четверть века
 Все будет так, исхода нет.
 Умрешь, — начнешь опять с начала —
 И повторится все, как встарь:
 Ночь, ледяная рябь канала,
 Аптека, улица, фонарь.

Таково — пассивное, в минуту остановки, восприятие жизни — личной. И вся Россия, в ее огромной, когда-то встарь насильно остановленной, но рвущейся из всех границ жизни — такова же. «Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням и, с головой от хмеля трудной, пройти стороной в Божий храм. Три раза преклониться долу, семь — осенить себя крестом, тайком к заплеванному полу горячим прикоснуться лбом. Кладя в тарелку грошик медный, три да еще семь раз подряд поцеловать столетний, бедный и зацелованный оклад. А воротясь домой, обмерить на тот же грош кого-нибудь, и пса голодного от двери, икнув, ногою отпихнуть. И под лампадкой у иконы пить чай, отщелкивая счет. Потом переслунить купоны, пузатый отворив комод, и на перины пуховые в тяжелом завалиться сне»... — косность, смерть, слепая и глухая, отказ от смысла, от воли, от движения.

Но даже здесь, на этой остановке, в падении дело не кончается одним отрицанием. В конце — две строки сильного повышения чувства и голоса, первый толчок от остановки к движению, любовь к этой самой только что горько в уродстве обнаженной России:

Да, и такой, моя Россия,
 Ты всех краев дороже мне.

Любовь — и смелое сплетение личного скитальчества, как исполнения личной судьбы, со скитальчеством, как исполнением судьбы исторической — России. Любовь — и желание постичь Россию и высветлить ее внутренне — как и себя самого в личной плоскости — не в светлом ее, не в высоком, не в радостно-творческом и осмысленном, а в самом темном, ложном, подпольном, бессмысленном, даже преступном. Воля поднять самый тяжелый крест, пройти через самую низкую долю, но с этим крестом и через эту долю пробиться к живому творящему — не иконостасному — пламени правды; воля утонуть в по-

следней из последних трясин бытия и, утонув, рвануться духом — преобразителем, властителем и знающим в мир, — воля эта ключ ко многим страницам Ал. Блока и особенно к поэме «Двенадцать», которую Л. Шестов глубоко и правильно назвал «de profundis революции». Отвращение к лживой праздничности, к замене сущности названием и манерой, отвращение к легковесному слову, к покупному наряду, к тленному, и во имя этого отвращения жестокая к себе готовность стать червем, быть забитым в землю, в тьму ее, в грех, в слепую и глухую смерть ее — и во имя этого отвращения вдруг, точно по звуку трубы, стихийно в какой-то час готовность распрявиться и засиять изнутри идущим светом, острым, но не до конца бессомненным, как все положительное в жизни духа. —

О, Русь моя! Жена моя! До боли
 Нам ясен долгий путь.
 Наш путь — стрелой татарской древней воли
 Пронзил нам грудь,
 Наш путь степной, наш путь — в тоске безбрежной,
 В твоей тоске, о Русь.
 И даже мглы — ночной и зарубежной —
 Я не боюсь.
 Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
 Степную даль...¹⁰

Вот — то сочетание гордости и унижения, бичующего самосознания и сознания окрыляющего, из духа которого родились стихи А. Блока к России. Разве мог он при таком постанове своего таланта — не убийце, не блуднице, не хулигану доверить звание апостола, поручить мировой пожар и почетную стражу при Христе, «в белом венчике из роз»? Да и на самом деле, не литературно, творчески, жизненно, разве можно кому-нибудь верить на земле, кроме тех, у кого ничего нет, кроме тех, кому здесь нечего терять? Да и *к кому*, к кому может, по точному смыслу христианского мифа, по мысли глубочайших и религиознейших толкователей, прийти Иисус Христос, *с кем* может он идти «нежной поступью надвьюжной», как не с последними из последних, притом с теми, которые не претендуют на «блаженство нищих духом», а усугубляют свое падение бесправной и жадной привязанностью мимоходом — к серым гетрам, к «шоколаду миньон» и гулящему юнкерью?

Как все это забыто, как все искажено и презрено недовольными толкователями «Двенадцати» — смягчающими, недоумевающими, прощающими Блоку его «ложный шаг».

VI

В самой основе бытия России, как и в основе обыденной жизни личной, есть, если исключить стремительный полет куда-то, нелепость, бессмыслица. «Сонное марево», с которым пора «разлучиться, раскаяться», пора забыть про Русь, где «Чудь начудила да Меря намерила гатей, дорог, да столбов верстовых»¹¹. Это в остановке движения, в пассивности, в уродстве, «аптеки, улицы, фонаря», с их вечным возвращением. Субъективно спасала от отчаяния любовь: «но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Объективно — история, ее стремительность, посланные ею испытания. Взгляд поэта возвращается к временам «поля Куликова», где уже был ясен «долгий путь» и была надежда: «Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами степную даль». Тревожное что-то мнится Блоку и в Петре Великом, в «Медном всаднике»:

Он будет город свой беречь,
И, заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей¹².

Но совершенно внятен становится голос истории в 1905 году.

Испепеляющие годы,
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы, —
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста,
В сердцах восторженных когда-то
Есть роковая пустота¹³.

До нового знака музыки истории, до нового ускорения полета, когда утихла буря 1905 года, снова — нести скитальчество с «загражденными гулом набата устами», «с роковой пустотой в когда-то восторженных сердцах». И эти скитания, приобретшие на миг смысл от совпадения с историей, снова становятся бесцельными.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или каменным путем влекомый
Нищий, распевающий псалмы?
Нет, иду я в путь никем не званный,
И земля да будет мне легка,
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака¹⁴.

Все ниже, ниже сход к трясинам и гатям Руси пьяной — в эти часы бессмысленного, с точки зрения исторических катастроф, затишья, бессмысленной остановки и прорастания звериного быта. Осень разгулялась в мокрых долах, обнажила кладбища земли. Молодость навеки загублена во хмелю. Много свободных, гордых, статных гибнет не любя. Россия, нищая Россия, поет ветровые песни, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Все ниже, все глуше, бессмысленнее, разорваннее, пьянее, темнее. Падение, а не Голгофа. Кабак, а не «возвышенное страдание». И лишь далеко, на дне этого падения, маячат надежды, что не все в нем просто, что так надо, так хорошо. Совпадение личной судьбы с судьбою общей, символичность личной судьбы Блок утверждает в одном из прекраснейших своих стихотворений, которое необходимо привести целиком.

«Когда в листве сырой и ржавой рябины заалеет гроздь, когда палач рукой костлявой вобьет в ладонь последний гвоздь, когда над рябью рек свинцовой, в сырой и серой высоте, пред ликом родины суровой, я закачаюсь на кресте — тогда просторно и далеко смотрю сквозь кровь предсмертных слез, и вижу: по реке широкой ко мне плывет в челне Христос. В глазах такие же надежды и то же рубище на нем. И жалко смотрит из одежды ладонь, пробитая гвоздем».

VII

В шальной по смелости схеме «Двенадцати» это распятие в «сырой и серой высоте» принимает конкретные формы — как и следует в жизни живой — не блещущие ни внешней красотой, ни внутренней героичностью. Катька изменяет Ваньке. Ванька убивает Катьку. Простреленная голова. Погасший свет жемчужных зубок. Разбитые «этажи» и «буржуй», «летающий воробушком». И страх, страх, навеваемый вьюгой, ветром, сугробами, темными углами перспектив Петрова творенья. Здесь все смешивается. И Ванька не из ревности убивает Катьку, а несет его «ветр ночной», вырвавшийся из далеких пустынь отца-хаоса и творящий историю. И на Катьке в смерти нечаянной перегорает юнкерская любовь. И снег — не снег петербургских улиц, а космическая морозная пыль, вдруг сгрудившаяся на точке земного шара, именуемой Петербургом, Россией. И ревность не ревность, и грабеж не грабеж. Все не то, все — иначе, все раздвигает пределы постигаемого. «Кругом огни,

огни, огни». Все занимается и горит. «Двенадцать» апостолов без креста, задыхающиеся в смертной тоске полета, которого они сами не разумеют до конца, его жертвы — сами сгорят раньше, чем видна станет цель. Кабака уже нет и не отдохнешь под его крышей. И Катькиных ножек уже нет — не на чем забыться. В мокрых долах гуляет тот же лихой ветер — дальше, дальше, быстрее, быстрее, ничего не видно, ничего не слышно, обморок от стремительности полета до одной из неизбежных остановок.

Ветер, ветер —
На всем Божьем свете.

Ранние стихотворения Александра Блока о России держались обыденности, рамок сегодняшнего дня и лишь изредка приоткрывали завесу, скрывающую общее. В «Двенадцати» завеса разорвана, историческое утонуло в мировом. Но и Блоку ясно: мир весь не займется, не обратится весь в вихрь и пепел. Кулисы колеблются, но не падают. Утихнет ветер, уйдет «на круги своя», и воля истории к формам создаст новый — или восстановит старый — быт, еще на день, еще на век. Внеисторическим, морально-пророческим «Двенадцати» отвечают строго исторические «Скифы». Здесь — снова формы, знакомые обозначения и противопоставления. В «Двенадцати» нет логики, в них все алогично, все в чаяниях, в пьяной смелости, во вдохновении. «Скифы» оперируют логикой, историей, даже географией. «Россия» и «Европа». Урал. Призыв. Почти — пацифистская прокламация. Разум возвращает свои права. И только для любви, которая «и жжет и губит», остаются у поэта слова, которых не вместит «ни острый галльский смысл, ни сумрачный германский гений».

Так из противопоставления крайних полюсов, личной судьбы и мифа, низости и высоты, из утверждения низости, как одной из последних реальностей, и трагически-неуверенного утверждения высоты, как тоже одной из последних, хотя не до конца достоверной, реальности, из этой музыки сменных утверждений, сменных познаний, из духа сомнения, надежды и чистой воли к высшему и целостному бытию, из духа самоуничтожения и в земном и нематериальном — родился тот Блок, которого мы знаем в жизни, в лирике, в своеобразном и немногословном эпосе и в столь неканонической драме.

